

Александр Амфитеатров

И ТЕПЕРЬ ЕЩЕ СЛЫШУ РЕЧЬ ДОСТОЕВСКОГО ¹

На Пушкинском празднике – Примирение Аксакова с Тургеневым –
Смотр литературных великанов – Апофеоз Достоевского – Как говорил
Достоевский – Словесное колдовство – Общая ошалелость – О Наташе
Ростовой речи не было

Предисловие В.Кирпотина²

В 1880 году в Москве в торжественной обстановке состоялось открытие памятника Пушкину (работы Опекушина), столь неотделимом сейчас от облика нашей столицы. Средства на сооружение статуи были собраны по подписке. Открытие предполагалось приурочить ко дню рождения поэта – 26 мая. Однако из-за придворного траура правительство распорядилось перенести начало торжеств на 5 июня. Все делегации съехались вовремя, все было готово в срок – и вынужденное промедление усилило напряжение всеобщего ожидания и всеобщего интереса.

Пушкинские торжества призваны были прежде всего воздать должное великому поэту, утвердить на незыблемом и окончательном уже основании национальное и всемирное значение его творчества. В шестидесятых и семидесятых годах общественность несколько охладела в наследию Пушкина. Обычно считалось, что в этом виновата была «левая» критика – прежде всего Писарев и его сторонники. На самом деле немалую роль в «охлаждении» к Пушкину сыграла славянофильская критика. Молодых читателей отдаляли от Пушкина и представители так называемого «чистого искусства», создававшие лживую версию о непричастности поэта к общественно-политическим идеалам.

Столь крупное и необычное для того времени событие не могло уложиться в чисто литературные границы. Голос революционной

¹ Печатается по: Литературная Россия. 2 июля 1965 г. № 27 (131). С. 22.

² Многие оценки и суждения, высказанные в предисловии, безусловно, сегодня выглядят как анахронизм.

общественности и революционно-демократической критики не мог, правда, в той политической обстановке прозвучать на торжествах. Но устроители вместе с тем приняли меры, чтобы отгородиться от Каткова, наиболее злого идеолога реакции, не брезговавшего ни клеветой, ни доносами, к тому же не раз пытавшегося принизить поэзию Пушкина (еще в 60-х годах Достоевский подверг уничтожающей критике катковскую оценку «Египетских ночей»). Приглашение на празднества, посланное Каткову как редактору «Московских ведомостей», было демонстративно аннулировано. Правда, Катков как гласный городской думы принял участие в думском обеде в честь Пушкина и даже рискнул выступить на нем с речью. Но когда по окончании своего слова он протянул руку Тургеневу, маститый писатель отвернулся.

Обычное юбилейное велеречие было прервано Тургеневым, который, связывая отношение к наследию Пушкина со сменой эпох в жизни русского общества, одновременно подчеркнул, что муза «мести и печали» Некрасова является закономерной преемницей пушкинской музыки. С точки зрения консервативных и славянофильских слушателей это была неслыханная дерзость, и славянофильско-консервативный лагерь счел, что Тургеневу и его «партии» необходимо дать отпор.

Отпора этого ждали от Достоевского, и, казалось, Федор Михайлович соглашался с отводимой ему ролью. Однако Достоевский всегда был человеком неожиданным и неуправляемым. Готовясь к своей речи, он шел к собственной цели – он вспомнил свою давнюю мечту об объединении в едином синтезе «западников» и «славянофилов», демократов, болеющих за правду и справедливость, и консерваторов, желающих сохранить от напора времени национальную патриархальность. Речь получилась двойственная, но, быть может, именно благодаря этой двойственности Достоевскому удалось слить пушкинский праздник к самыми жгучими вопросами современности.

Русский «страдалец», русский «скиталец» (под этими словами в эпоху «Народной воли» подразумевался и русский революционер) не сможет успокоиться до тех пор, пока не завоюет всемирного, всеобщего, всечеловеческого счастья – на меньшем «он не помирится», - сказал

Достоевский. Слова эти окружили ореолом самоотверженную передовую молодежь, которая отдавала свою жизнь за народ, за правду, за справедливость. Естественно, что они были встречены «безумными аплодисментами». Увлеченная своим восторгом, молодежь (да и не только молодежь, но даже искушенный в общественных битвах Глеб Успенский) не заметила прозвучавшего во второй части речи Достоевского призыва к смирению. Зато слова «Смирись, гордый человек» хорошо услышало и оценило консервативное крыло. Оно свело всю речь Достоевского к этому лозунгу и тоже разразилось неистовыми овациями. Создалась мгновенная фикция единения противоположных направлений, а что за сим последовало, хорошо передают публикуемые ниже воспоминания Александра Амфитеатрова, написанные к 50-летию со дня смерти Достоевского и затерявшиеся в эмигрантской газете «Сегодня», издававшейся в буржуазной Латвии.

Амфитеатров и через полвека сохранил наэлектризованное чувство, испытанное им, когда он слушал Достоевского в Дворянском собрании (потеперешнему – в Колонном зале Дома союзов). Этим объясняется повышенный, почти библейский слог в тех местах, где он касается личности Достоевского, прописная буква в местоимениях относящихся к великому писателю. Восторженный тон не помешал, однако, точности и даже трезвости воспоминаний Амфитеатрова. Амфитеатров, пожалуй, лучше других мемуаристов воссоздал образ Достоевского – оратора и чтеца. Он превосходно передал атмосферу, созданную речью Достоевского.

Амфитеатров не забыл, что наавтра все уже разобрали, что мнимое единение враждующих партий в один из самых острых моментов русской истории могло быть только комедией.

По воспоминаниям Амфитеатрова видно, что публика заметила и огорчилась отсутствием на пушкинских торжествах Толстого и Щедрина. Толстой не приехал вследствие переживавшегося им идейного кризиса, а Щедрин потому, что знал, что не сможет сказать того, что хочет сказать. Любопытно отметить: на празднике не было еще и Гончарова – по болезни. Но к началу восьмидесятых годов общественный интерес к Гончарову был, по-видимому, утрачен, и его отсутствия не заметили.

Остается объяснить, почему пушкинская речь Достоевского, несмотря на ее противоречия, была и осталась событием и в русской литературе, и в русской общественной жизни. Потому, что Достоевский с непререкаемой убежденностью и убедительностью показал всенародное и всемирное значение Пушкина; потому что ему удалось обнаружить органическое единство, существующее между пушкинским идеалом гармонической личности и идеалом братства людей и народов; потому что положительная сторона речи Достоевского связывает ее с пушкинскими статьями Белинского. Имя Белинского на торжествах произнес один-единственный Тургенев – «западник», противник Достоевского. Но и речь Достоевского полна Белинским. Возвеличивая Татьяну за ее «смирение», Достоевский полемизировал с Белинским; подчеркивая же всемирную отзывчивость Пушкина как залог особой миссии русского народа в среде других народов, он повторял великого русского критика.

8 июня 1880 года, на второй день московских празднеств по случаю открытия всенародного памятника А.С.Пушкину, в торжественном заседании общества любителей российской словесности в белокаменном зале Дворянского собрания Федор Михайлович произнес свою знаменитую речь о Пушкине. Речь эта, мало сказать, взволновала и потрясла внимавших ей, - нет, она ошеломила, раздавила, ослепила эту «избранную публику», съехавшуюся на «праздник интеллигенции» со всех концов России. До того захватила и заколдовала гипнотически, что на мгновение показалась решительным исходом из чуть не векового спора двух главнейших встречных течений русской культуры – западнического и славянофильского.

Иван Сергеевич Аксаков, «предводитель славянофилов», как он сам тогда заявил о себе с кафедры, тут же немедленно определил торжественно, что речь Достоевского «составляет событие». Определение это, по-видимому, очень понравилось Достоевскому: оно дословно передано в «Дневнике писателя», и, говорят, Достоевский любил его повторять. Я помню живо и ясно, как оно было провозглашено. Как среди неописуемого общего рева, плеска, грохота всплыл на кафедре над буйным морем голов – Посейдоном таким – широкоплечий, краснолицый, с суровыми серыми

глазами под золотыми очками Аксаков и, преодолевая радостный шум возбужденной толпы, возопил зычным голосом бирюча старомосковских времен, с пылким рукомаханием:

- Здесь расхождения и двух мнений быть не может. Речь Федора Михайловича все выяснила, все примирила. Я думал говорить много, но теперь не скажу ничего больше, потому что Федором Михайловичем все – все, что надо – сказано. Я, Иван Сергеевич Аксаков, почитаемый главою славянофилов, протягиваю руку Ивану Сергеевичу Тургеневу, почитаемому главою западников. И этим все договорено. И толковать больше нечего!

Трескуче стукнул кулаком по пюпитру – сущий купец Калашников! – и под новым громом аплодисментов сошел с кафедры, чтобы действительно обменяться торжественным рукопожатием с огромным и великолепным в серебряных сединах Тургеневым, который встал навстречу, как мне показалось, с гораздо меньшим энтузиазмом, чем бурнопламенный глава славянофилов к нему спешил.

Аксаков был человек, несомненно, весьма замечательный – и талантливый, и умный, и смелый, и честнейше стойкий в своих убеждениях, и оратор превосходный, одинаково одаренный и богатством речи, и темпераментом. Словом, величественный был «муж совета», трибун с головы до пяток: каждый вершок трибун! Но было в нем что-то и комическое – может быть, именно от чрезмерного избытка достоинств? – позывавшее, при всем к нему почтении, на скрытую усмешку. Бывают роковые сходства между людьми и неодушевленными предметами хозяйственного быта. Вот и Аксаков, вопреки своей трибунской важности, как-то смахивал немножко на ведерный самовар красной меди, ярко вычищенный – пар столбом, - кипящий и шумящий.

У каждого пожилого человека найдутся в душе воспоминания о каком-нибудь переживании общественного подъема, когда хотелось, подобно Фаусту, сказать мгновенно: «Прекрасно ты, остановись!» Лично за себя да, полагаю, и за многих своих ровесников смею утверждать, что для нашей ранней юности таким Фаустовым мгновением сверкнули московские пушкинские дни. Не знаю, бывало ли раньше, но – в этом-то я уже

совершенно уверен – никогда позже русская интеллигенция не устраивала такого выразительного мощного смотра своих литературных творческих сил, как в этом удивительном, неожиданно всероссийском паломничестве на московский Тверской бульвар, к беспритязательному, но тем самым неожиданно же удачному опекушинскому монументу.

Мне просто как-то жутко вспоминать эту эстраду, как бы световыми ореолами или огненными языками озаренную, где рядом, бок о бок, сидели Тургенев, Достоевский, Писемский, Островский, Майков, Полонский, Ключевский, Аксаков, Глеб Успенский, П.И.Чайковский, Н.Г.Рубинштейн, Н.С.Тихонравов, А.И.Чупров и фигурами еще сравнительно второстепенного значения были С.А.Юрьев, А.Ф.Кони, А.А.Потехин, А.И.Урусов, М.М.Ковалевский, С.А.Муромцев, Н.А.Чаев, Д.В.Аверкиев... Недоставало только Льва Толстого и М.Е.Салтыкова-Щедрина, чтобы в живой выставке лиц представлены были полностью литературные «люди сороковых годов» и «шестидесятники». Живой иконостас святых русской культуры. Не люблю я старости ни в других людях, ни особенно в себе самом. Но вот соображаю, что она дает мне право сказать младшим поколениям:

- Я видел собственными глазами тех, чьи имена для вас лишь великанские призраки из истории литературы, волшебные символы «полных собраний сочинений» или даже уже лишь священные хрестоматические мифы.

И за это преимущество (собственно говоря: печальное преимущество стоять уже в авангарде общечеловеческого похода к могиле) я готов извинить старости хотя не все, но довольно многие ее, с позволения сказать, свинства.

Да! Я «их» видел и слышал. И в числе их видел и слышал Его: не удивляйтесь большой букве! Стоит! Его, Кто пятьдесят лет тому назад ушел из нашего мира телом, но тут-то и пришел к нам, в особой силе и власти, духом – с тем, чтобы затем пребыть с нами властителем наших дум и ныне, и присно, и во веки веков. Ибо Достоевский – это тот, от кого... или нет, лучше: то, от чего русскому человеку некуда деваться, даже если бы он того хотел. А какой же русский или культурно обруселый человек хочет уйти, «отделаться» от Достоевского?

Да, Я «их» видел и слышал Его – и как! В минуты величайшей моральной победы, какую Он когда-либо одерживал; в минуты, когда Он, вековый страдалец, вдруг был весь осиян удачей и славой, в минуты Его мало сказать, триумфа, - нет, вернее будет, апофеоза...

А, впрочем, что я говорю: видел и слышал. Нет, я еще вижу, я еще слышу Его. Вот она – как будто сейчас передо мною – странная фигура: рыжеватый, бледно-лицый человек, рослый, но почему-то кажущийся маленьким, в громадном темно-зеленом кольце, венке лавров, которым обрамляют его сзади московские интеллигенты-либералки – Юлия Ивановна Глики и княжна Надежда Дмитриевна Мышецкая. Обе, по тогдашней московской кличке, «наш пострел везде поспел!».

Слышу странный, полный нервной силы, высокий, теноровый голос. Он приковал зал к своему исторически внушительному звуку уже первую фразу, произнесенную медленно, четко, отдельно и как бы скандуя:

- Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавим от себя: и пророческое.

Как-то поповски или вроде старообрядческого начетчика, на «о», вымолвил Достоевский это свое «пророческое». И бог его знает, что было в нем, в этом голосе, но все мы, тогда весь зал, сразу вдруг, почувствовали, что с нами говорит Некто, действительно имеющий право «прибавлять от себя» к тому, что сказал Гоголь. И что если кто в состоянии открыть и изъяснить нам пророческое величие Пушкина, то лишь именно этот человек, с мистическими глазами провидца на лице отошавшего обывателя-разночинца и с голосом тайноведа, проникнувшего в глубины Трофониева оракула, выйдя из пещеры которого смертный, говорят, терял навсегда способность улыбаться.

Еще несколько минут, и слышу вопль, почти взвизг пронзительного стеклянного звука:

- Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде потрудишься на родной ниве... Не вне

тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой – и узришь правду...

- Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено... Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде» исходил, благославляя, Христос». Почему же нам не вместить последнего слова Его? Да и сам Он не в яслях же родился?

Мне тогда шел девятнадцатый год, был я гимназистом восьмого класса, но больших ораторов я уже слыхивал: Плевако, Урусова, Александрова (он нам, Амфитеатровым, был родственник в каком-то колене), даже в собственном нашем семейном кругу часто звучало увлекательное красноречие дяди, знаменитого профессора-экономиста Александра Ивановича Чупрова, а трогательные проповеди моего родителя, прославленного московского «отца Валентина», почетно слыли и по Москве, и далеко за пределами Москвы. Но то, что теперь я слышал из уст Достоевского, не было ни красноречьем, ни ораторством, ни «речью», ни даже «проповедью». Лилась огненным потоком, подобно расплавленной лаве, гласная исповедь великой души, самоотверженно раскрывавшейся до глубочайших своих тайников – затем, чтобы себя хоть до дна опустошить, но нас, слушателей, убедить и привести в свою веру...

Я не знаю, был ли Достоевский вообще «хорошим оратором». Очень может быть, что нет. По-моему, так говорить, как он тогда, человек в состоянии только однажды в жизни. Высказался – весь до конца выявился – и довольно: «о жизни покончен вопрос», не жаль и умереть, - вправе! Так ведь, собственно говоря, и вышло с Достоевским: свою пушкинскую речь он пережил только семью месяцами, и все эти месяцы были для него полны ее откликами и отсветами: полемика с Градовским и пр.

Да, это была не речь, а скорее долгое заклинание, словесное колдовство. Либо – поправлюсь в угоду созидательного содержания, - страстный экзорцизм, ударявший по сердцам с неслыханною силою, чтобы изгнать из них «Великого Страшного Духа Небытия» со всею его свитою –

сомнением, унынием, неверием... Ведь Достоевский говорил перед публикою, вовсе уже не так расположенною приять его в учителя и духовные отцы. Его слушала московская либеральная интеллигенция: «либрпансеры», демократы-идеалисты по заветам Великой Французской революции, утописты-социалисты сороковых и пятидесятих годов, пожилые Базаровы и Базаровы-сыновья, материалисты, воспитанники нигилизма шестидесятих годов, политические «оппозиционеры», сочувственники народнической революции семидесятих, ученики и поклонники Добролюбова, Чернышевского, Писарева, Михайловского... Казалось бы, перед такою публикою, «либеральничающею с оттенком европейского социализма, но которому придан некоторый благодушный русский характер (язвительная усмешка Достоевского в той же самой речи), экзорцист во имя Пушкина, как воплоителя национальных русских идеалов и пророка вождевого значения России в этическом прогрессе человечества, был заведомо обречен на жесточайший провал. Прибавьте к тому, что Достоевскому еще не были прощены ни «Бесы», ни старец Зосима в «Братьях Карамазовых», ни многое «реакционное» в «Дневнике писателя». Но...

Слышим заключительный подъем голоса:

«Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

И с последним словом – вдруг что-то вроде землетрясения. Тысячная толпа сразу вся на ногах – стремятся к эстраде, гром, рев, вой, истерические взвизги, - воспаленные глаза, щеки, омываемые слезами; на груди моей рыдает неизвестно откуда взявшаяся незнакомая дама: впоследствии, много лет спустя, встретились, узнали друг дружку – оказалась знаменитою московскою меценаткою Варварою Алексеевною Морозовой. Повскочили на стулья, машут руками. Общая ошалелость. Общий позыв двигаться и орать. На эстраде смятение и метание. Тургенев стоя аплодирует широким, показным жестом. Достоевский раскланивается – уже в рамке венка, как я писал выше. Сколько времени это продолжалось, ей-богу, не знаю: мгновенье совсем остановилось. «Стой, солнце, и не движись, луна!» Думаю,

что для того, чтобы публика очувствовалась и, придя в себя, дала продолжать заседание, понадобилось не менее получаса.

Но и затем продолжать заседание нельзя было. Достоевский, собственно говоря, его сорвал. Он, так сказать, съел все внимание публики. Следующий оратор, Аксаков, это чутко понял и вместо речи еще поддал пару – словно плеснул из шайки водой на каменку паровой бани – картинным примирением славянофилов с западниками. Назавтра разобрали, что разыграли комедию, но в тот момент было страсть эффектно и трогательно. На отказ от речи Аксакову, конечно, кричали: «Нет, просим, просим!» Но он был умный: доложил лишь крохотный отрывок из приготовленной речи, - о чем, не помню: только хорошо прочел строфу из «Евгения Онегина»:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал...

И – тихим колокольным басом – в самом деле в последних двух словах настроение, будто пролетел солидный этакий жучин...

Вообще надо сказать: превосходно читатели Пушкина все эти старые литературные богатыри. «Воротился ночью мельник» Писемского у меня так застрял гвоздем в памяти, что впоследствии даже Шаляпин гениальной декламацией под музыку Даргомыжского не подавил давнего юношеского впечатления.

Писемский читал как первоклассный комический актер, чего нельзя было сказать о Достоевском. Но опять-таки было в его чтении что-то такое внутренне-особенное, что цепко овладевало вниманием и зажигало слушателя. Даже в простодушной сказке, как плач Медведя по убитой мужиком боярыне-медведице. Но верхом его декламации, конечно, был «Пророк». Говорят, Достоевский читал его часто. Неужели всегда так страстно, как на московском пушкинском вечере? Не думаю и не хотел бы того. Потому что в таком случае это, значит, было бы привычным актерством, наигранным уменьем в спокойном духе горячиться. Тогда как с пушкинской эстрады слышали мы нечто от громов Синая:

Восстань, Пророк! И виждь, и внимли!

Исполнишь волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

Это металлически острое, пронзительно, безумно выкинутое «ЖГИ!» Достоевского после почти шепота начальных стихов «Пророка» и сурового величия последнего четверостишия режущим вихрем ворвалось в уши и, потрясая слух, в самом деле как бы обожгло душу огнем – тем «диким криком духа потрясшего и повергшего», о котором сам Достоевский так выразительно ярко говорит в «Идиоте», - воплем эпилептика, настигнутого припадком. Не оцепенеть на мгновение под этим резким хлестом звуковой плети-молнии, не ответить на него потом лихорадочной дрожью, морозным пробегом по всему телу было решительно невозможно. Грозно заколдовывал, мучительно восхищал.

Пушкинская речь Достоевского, конечно, несколько раз прерывалась рукоплесканиями. Об одном таком перерыве, особенно громком и дружном, хочу сказать два слова. Это после характеристики Татьяны:

«Такой красоты положительный тип русской женщины почти уж и не повторялся в нашей художественной литературе – кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева.

Зааплодировали восторженно, бешено. Можно сказать, исторически аплодировали – запомнилось навсегда! И вот в последнее время, не знаю, с чьего свидетельства, появилась «творимая легенда», будто тут вышла недомолвка: якобы внезапный взрыв аплодисментов заглушил конец фразы Достоевского, - публика уже не слышала, как он, будто бы, договорил:

«И Наташи Ростовой в “Войне и мире” Толстого».

Я лично очень желал бы, чтобы так было, ибо считаю Наташу Ростову вполне достойною занять место в иконостасе русских женских характеров рядом с Татьяной и Лизой. Но тем не менее решительно отрицаю: Достоевским о Наташе ничего сказано не было. Это выдумка кого-то из позднейших ревнителей толстовского культа (Н.Н.Страхова – В.К.).

Сидел я так близко к Достоевскому, - можно сказать, в рот ему смотрел и слушал так внимательно, что уж никак не пропустил бы хвалебного приговора Наташе Ростовой, в которую был влюблен с первой отроческой грамотности.

Но, кроме моего личного свидетельства, есть опровержение более авторитетное: самим Достоевским. Если бы упоминание о Наташе Ростовой не дошло до публики только по недоразумению, из-за слишком поспешных рукоплесканий в честь Тургенева, то оно должно было бы сохраниться и даже – именно ввиду пропуска, не зависевшего от оратора, - особенно подчеркнуто быть в печатном тексте речи, в августовском выпуске «Дневника писателя». Этого нет. И ни в одном последующем печатном тексте, и в полемических статьях «Дневника» тоже нет.

А если нет, то, значит, и не было речи о Наташе Ростовой. Ибо, если бы была, то уж вычеркивать-то ее из печатного текста Достоевского, конечно, не стал бы: за что? Нет, просто он не упоминал, а те, позднейшие, кому впоследствии обидно стало, зачем не упомянул, от себя присочинили. В чем, в чем другом, а в «папистах пуще самого папы» русская интеллигенция никогда не терпела недостатка. Поусердствовали – и переусердствовали.